

Интернет-страница журнала:

www.trans-lit.info

Лента редакции:

facebook.com/translit.magazine

Микроблог редакции:

[@translitblog](https://twitter.com/translitblog)



Номер издан при поддержке
Кафедры русской литературы
Женевского университета



ISSN 2074-4978

Тираж 999 экз., печать офсетная,
отпечатано в типографии издательско-
полиграфической фирмы «Реноме»

192007, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 40
тел./факс: (812) 766-05-66
E-mail: renome@comlink.spb.ru.

**ТРАНСЛИТ: ЛИТЕРАТУРНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2020.
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В ГОД.**

Редсовет:

Павел Арсеньев, *редактор*
(editor@trans-lit.info)

Никита Сунгатов, *отдел поэзии*
(poetry@trans-lit.info)

Марина Симакова, Тим Тимофеев
соредакторы выпуска

Консультационный совет:

Дмитрий Голышко, Кирилл Медведев,
Александр Скидан, Кети Чухров

Дизайн-макет:

Дарья Зайцева

Корректурa:

Тим Тимофеев

Обложка:

Репринт обложки ЛЕФа №3 (1923)

О г л а в л е н и е.

I. Программа.

РЕДАКЦИЯ Материальные культуры авангарда: к постановке проблемы 3

ТРАНСЛИТ/КРАСНАЯ ЛАСТОЧКА

Медиа(архео)логия письма vs. Феноменология когнитивных технологий (дискуссия). 158

II. Практика.

ХАМДАМ ЗАКИРОВ То, что я должен сказать (с предисловием Н. Сунгатова). 1 7

РОМАН ОСМИНКИН Как пишутся стихи (с послесловием Д. Сипли). 3 4

ЕГАНА ДЖАББАРОВА Ничего экзотического (с предисловием Б. Ключникова). 4 7

ДМИТРИЙ ГЕРЧИКОВ 1001 человек (не рекомендуется заполнять никогда)
(с совместным комментарием П. Арсеньева, Н. Сунгатова). 6 1

КУЗЬМА КОБЛОВ «Никита пригласил меня выступить на круглом столе...»
(с предваряющими реликами П. Арсеньева, Н. Сунгатова) 8 8

ГЛИКЕРИЙ УЛУНОВ Iem-(Михаил Тухачевский) (с предисловием Д. Ларионова) 1 0 0

СТАНИСЛАВА МОГИЛЕВА Find next (с комментариями Е. Захаркив, П. Арсеньева) 1 2 4

СИЯ РИННЕ, ДАНИ СПИНОЗА, ПЕТРА ШУЛЬЦЕ-ВОЛЬГАСТ, ПАВЕЛ ЗАРУЦКИЙ
(с текстом куратора выставки «Словомеханизмы» и комментарием А. Конакова) 1 4 5

ПАВЕЛ БАСКОВ Срез совпал (с предисловием А. Родионовой) 1 6 8

III. Теория.

МИХАИЛ МАЯЦКИЙ «Вперед, к вещам!»: феноменология и вещи 8

ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВ Камень, ножницы, бумага, или О нескольких простых вещах 2 3

ИЛЬЯ КУКУЙ Археология авангарда: о происхождении материальной культуры из языка 4 0

МИХАИЛ КУРТОВ Русский авангард как конфликт культуры полумок и культуры починок 5 5

АРСЕНИЙ ЖИЛЯЕВ Об искусстве без берегов,
или Красота как организованность вечной жизни 6 1

АНКЕ ХЕННИГ Фактография объекта (в переводе Т. Тимофеева) 9 2

АЛЕКСАНДРА НОВОЖЕНОВА «Старое и новое» Соломона Никритина
как диалектическая формула соцреализма (в переводе М. Маряевой, А. Рябовой) 1 0 8

АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ «То строчка кончается, то интервал»: техника писателя Харитонова 1 3 2

IV. Книга.

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПО ПРАГМАПОЭТИКЕ Рец. на книги 1 7 0

V. Факты.

ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВ Сила слова и ее социально-технические амплификации
(отчет о поэтической конференции) 1 3 9



СИЛА СЛОВА И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АМПЛИФИКАЦИИ

(отчет об одной конференции)

Вечером накануне я встречаю Генриха — типичного немецкого *Dichter'a* родом из Хабаровска, его не интересует ничего, кроме книг и пива (во всяком случае в этот вечер), вследствие чего мы сильно разговариваемся. Он занимается Мандельштамом, причем во Фрайбурге, но глядя на его кудри, я понимаю, что все мы родились слишком поздно для настоящей поэзии.

На утро же я начинаю сомневаться и в существовании какого-то типа добротного филолога, которого можно было бы (хотеть) шокировать своими резиньяциями. Все стыкуют как умеют свою выученную любовь (например, к позднему Тютчеву) с актуальными задачами момента (например, с комментариями по Трампу в фейсбуке).

И все же выработанные теми и другими, поэтами и филологами, техники продолжают работать при соблюдении определенных социотехнических обстоятельств, а искусственно созданный дефицит радости (дающий возможность писать) все же, случается, движет куда-то дальнейшее развитие их поэтик и методов.

День первый, или

Сила поэтического слова и его социотехнические амплификации

Уже на вступительных словах организатора о поэтическом потенциале *hate speech* становится понятно, какие стихотворения должны быть сегодня прочитаны. Филолог уже давно не бегаёт за поэтом — скорее на филолога и поэт бежит (предлоги имеют решающее значение, случаи не симметричны). Речь идет о *russian as neoimperial language*, и этот тезис будет иллюстрировать состав приглашенных участников. Мне хочется назвать свою следующую книгу стихов «Русский как неродной»: со-

временная русскоязычная поэзия намоталась вся на украинский конфликт без остатка. Так ей, в общем, и надо («веками пороли девок...» — уже стучит в ушах автор «Интеллигенции и революции»), а с другой стороны, есть и собственные русофобские таланты на земле русской, поэтому не стоит недооценивать. Позитивная идеологическая программа современной немецкой филологии — демократическая конкуренция голосов, полифонизм и шизофрения. То есть по нынешним меркам — нойз и требующийся для него технический райдер. Микрофон — более не то, во что можно сказать «слова правды», а только то, во что представляют участников дискуссии.

Впрочем, многие из уморивших себя кабинетной работой филологов еще любят порассуждать о *силе поэта* и *силе слова* как двух возможных и связанных источниках перформативной силы поэзии. Первая, однако, со времен романтизма сильно сдала, и сейчас принято обращать внимание скорее на *force of powerlessness*. На это немедленно хочется возразить, но поскольку во время доклада *keynote speaker* принято молчать как минимум в течение часа (речи другого), я берусь записывать свое возмущение в блокнот. Иллокутивная сила слова никогда не была обязана поэту как маскулиному узурпатору, скорее она происходит из институционных условий. И тогда, говоря о перформативности поэзии, стоит повнимательнее присмотреться как раз к этим условиям, которые *empower* поэтического субъекта, сколько бы слаб, нищ, наг и убог (квир, креол, etc.) он/а/о ни был/а/о. А также амплифицируют силу его голоса — как институционально-политически, так и аппаратно-технически.

Греза, что сама по себе сила лучших слов в лучшем порядке оказывает какой-то политический эффект (или вообще, что «одно слово

правды весь мир перевесит»), филолог не только выдает свою теоретическую невинность, но и обнаруживает привязанность к определенной эпохе в отечественной истории, когда инженерами душ считались писатели, а кибернетика была не самой поддерживаемой отраслью. Возможно, это и вправду были славные деньки, но, во-первых, и тогда слову правды добавляло вес множество институциональных и технических ухищрений, а во-вторых, сегодня мы существуем в принципиально иной ситуации, чем Ханна Арендт и Вацлав Гавел, что требует перепрошивки и нашего аналитического аппарата.

Скажем, сегодня нужно привлекать все больше медиа-прагматических и институциональных условий, чтобы поэтическое слово сработало-таки перформативно. Раньше для этого было достаточно даже не выходить на улицу, а просто выйти на кухню и спеть в неудачной компании частушку (или именно в *удачной*, если буквально переводить *felicity*, то есть счастливым образом угодив в коммуникативный протокол). Сегодня необходимо изучить историю революционной песни, перевести вдохновлявший на борьбу испанцев и поляков текст «Стены рухнут», распевать его, уже будучи арестованным, под гитару в автозаке, транслировать это в интернет с помощью стриминга, собирающего лайки, и все равно это еще не будет гарантировать должного эффекта.

Другими словами, чудовищная тоталитарная советская власть, не уважавшая ни права человека, ни самого этого так называемого человека, создавала, однако, такие счастливые условия — *felicity conditions* — для (политической) перформативности (поэтического) высказывания, что это порождало в среде интеллигенции настолько мощные аффекты и эффекты слышимости и, следовательно, значимости их слов/голоса, что это и сейчас еще порождает объяснимую ностальгию в филологических кругах. Можно сказать, что советская власть служила трансцендентальным усилителем речи, наделяя причастных ей заветным опытом *s'entendre*, прославленным Жаком Деррида, но знакомым каждому бравшему в руки микрофон или получавшему публичную рецепцию своего высказывания. И все же это

значит, что деконструктивистской теории и теории речевых актов более недостаточно для того, чтобы описать, что происходит с поэтической речью на русском языке сегодня, поскольку она существует в принципиально иных — более «оснащенных» — медиа-технических условиях, чем когда писали Остин и Деррида.

Монтаж цитат из писем Мейерхольда Сталину больше не скандализирует некоего имплицитного тирана литературной теории. Имплицитный тиран больше не ставит на полях пометки «сволочь» красным карандашом. И наконец тиран больше не звонит с вопросом, большой ли поэт такой-то. Все эти коммуникативные диспозитивы отжили свой век, а возможно переоценивали уже и в свое время силу слов как таковых. Было, однако, в них что-то такое, что заставляет до сих пор среднего филолога мыслить в подобных координатах и что дарит ему надежду на сохранение рабочего места.

Просто это больше не слова. Намного важнее всех этих роковых слов и их «силы» оказываются сами аппаратные условия «успешной коммуникации», которые можно называть *technological felicity conditions*, или — для тех, кто любит просто и по-русски, — *обшивка*. Почтовая система как эпифеномен империи, держащий нас на привязи с миром мертвых телефонный аппарат или тот же красный стержень графита, о педагогической силе которого писал Китлер, оказываются, возможно, более сильными факторами действительности высказываний или даже собственно аппаратами, «говорящими сами за себя». Что можно написать красным на полях, как не «сволочь»? И о чем разговаривать по телефону — этому инструменту, ставшему технологическим бессознательным самой теории бессознательного, — как не о размере поэтов и вечности?

Не превращает ли фейсбук нас в граждан полиса, собравшихся на агоре для свободного обмена мнениями? — звучит вопрос, открывающий конференцию. Нет, фейсбук нас превращает не в граждан древнегреческого полиса, а в квадратики или с недавних пор в кружочки, появляющиеся на секунду, чтобы смениться другими такими со своей рекламой, досужими

соображениями или отчетом об успехах. Однако не больше он позволяет нам оставаться и гражданами Советского союза, собравшимися на переполненной коммунальной кухне и уже вступающими в политические споры и бытовые склоки. Залогинившись, мы оказываемся бесконечно далеки от обеих медиа-коммуникативных эпох, даже если аналогии с агорой и кухней или партсобранием настойчиво приходит на ум. Речи в социальной сети распространяются и резонируют не так, как на теплом греческом воздухе, и не так, как в прокуренной кухне, где они «за пару шагов не слышны» (но где во втором случае еще остается возможность, что позвонит тиран и поинтересуется качеством стихов, — примечательно, однако, что ему для этого еще нужно именно звонить, а не гуглить, *etc*). Отличается эта сцена речи и от той, когда поэзия звучит на стадионах, входя в сговор с микрофоном и усилителями (а то и с ожиданиями политической полиции). Слышимость или стратегическое молчание поэтической речи — это всегда очень конкретная техническая ситуация. Равно как и заметность письменной речи, распространяемой благодаря «Эрике», берущей известное количество копий. Современной поэтической критике, которая словно по закону паронимической аттракции всегда еще оказывается и политически чувствительной, пора уже подробно описать, культурно-исторически атрибутировать и расстаться с этими медиа-коммуникативными фантазмами. Тиран не звонит, стадионы не электризуются рифмой, а «Эрика» больше ничего не берет.

Конечно, существуют некоторые региональные вариации, порой целые историко-реконструкторские парки, в которых — в силу большого количества грезящих — может складываться впечатление о продолжающих работать амплификаторах поэтической речи, разработанных в секретных советских лабораториях. Одним из таких парков является Ленинград, оказавшийся с момента переноса столицы в Москву как бы в подпространстве, где складываются благоприятные условия для существования сразу нескольких литературных подкультур. Одним из используемых здесь до сих пор тактических усилителей сигнала поэ-

тической речи является так называемая широкая известность в узких кругах. Согласно инструкции, такие усилители должны быть установлены в подвалах с повышенной влажностью или на чердаках с повышенной пыльностью. На крайний случай годится и небольшой книжный магазин.

С другой стороны, в Риге существует такой усилитель поэтического сигнала, как радио. Прибалтика и в советское время славилась разными диковинными приспособлениями с волнительно несоветским покровом и изгибом контуров, сегодня же для большинства бывших соотечественников при всей географической близости она оказывается и вовсе недостижима только посредством телекоммуникационных технологий (характерен выбор этого парка нео-эмиграции бывшими столичными медиа — как литературными, так и нет, — продолжающими претендовать на охват прежней аудитории, невзирая на географические расстояния и границы). Собственно, именно радиоприемник был оператором информации из свободного мира и в советской медиа-политической системе, сегодня же он стал скорее технологическим бессознательным русскоязычной поэзии из Латвии и слегка медиа-ностальгическим символом текст-группы «Орбита». Аппарат, как бы нейтрализующий неоимперские коннотации русского языка, делающий его только одним из равно плохо слышащихся из динамиков, все время рискующий потерять нужную волну и переключиться на другую, вместе с тем звучит как бы из советского детства, когда волны были длинными и короткими, язык — разным, но почти всегда понятным, а железнодорожные билеты — недорогими. Впрочем, возможно, легкость передачи сигнала этой поэтической речи как на запад, так и на восток, сегодня обеспечивается не столько устаревшим как-никак технологическим оборудованием, но простым биополитическим преимуществом: *they are just russian poets, that don't need visa*, — как без экивоков отмечает в докладе о них Кевин Платт, не раз участвовавший в судьбе группы как переводчик и организатор мероприятий.

Здесь мы снова сдвигаемся от участия инструментов в распространении сигнала поэти-

ческой речи к институциональному аппарату ее амплификации и такой частной проблеме, как контаминация поэтического производства участием исследователя, переводчика, «куратора текстов». Парой к ней можно назвать не менее специфический случай металептического проникновения поэта (или «поэта и...») на уровень академического обсуждения его собственных текстов или текстов ближайших товарищей, где он существует в качестве *presented here* — институционального десерта или ценного источника инсайдерской информации, но так или иначе объекта иного типа, чем все выступающие. Скорее, объекта исследования, просочившегося на уровень презентации результатов исследования, тоже иногда что-то такое исследующего, но в сущности не всерьез. По выражению Романа Лейбова, *also presented here*, можно «пить с объектами», но неудобно начинать исследовать их тексты при всем интересе к таковым. «А ты поди сначала помри», — отвечал со свойственной ему прямолинейностью филолог Осповат поэту Кибирову, когда тот жаловался на то, что филологи не занимаются исследованием поэтических текстов современников. По свидетельству очевидца, после этого Кибиров действительно стал вести себя с филологами как мертвый — не помнить дат написания текстов и тому подобное. Собственно, всякая филологическая конференция, на которой доводится побывать поэту, не прибавляет ему жизни, но иногда прибавляет уверенности в силе своих слов.

Впрочем, после слишком частого посещения конференций ему и приходится становиться «поэтом и» — переводчиком, критиком, редактором или издателем, что в конечном счете подчиняет поэтов *authority* филологии, доказывать, что и они, они тоже не так уж объективны. И все же это странно — видеть, как в специально для того отведенных аудиториях происходит расшифровка сигналов поэтической речи, более динамичных процессов и действующих риторик, не нуждающихся, возможно, изначально, при своем возникновении, в этом изысканном мета-наросте (только после перво-сцены филологического анализа собственной поэтической речи поэт попадает

в зависимость от дисциплины), и все же способствующих *empowerment* поэтической речи. В ситуации кризиса читательской аудитории это сводится к вопросу выбора волн вещания, и подключение к академическому аппарату выглядит такой же целибатной машиной, как и подключение к открытому слэм-микрофону, арт-системе или чему-то еще. Вопрос эротических пристрастий и фантазий.

Так, в своем собственном докладе приходится говорить, в силу собственной гибридизации с журналом, о его последнем выпуске, посвященном как раз советскому застою и быстрому коммуникациям. Говорю о специфической институциональной темпоральности внутри общесоциального чувства переживаемого времени, иногда вызывающего неодолимые аналогии и потому до провокационного банально названного в честь длинных советских 70-х, но — и это принципиально — существенно опосредованного медиа-техниками, отличающимися от эпохи к эпохе. Поэтому и современная поэзия, сколько бы чисто лингвистических черт, мотивов или приемов ни связывало ее с неофициальной традицией, сегодня прежде всего оказывается в другой медиа-технической ситуации и может быть (снова) политически действенной, только если нащупает свое институционально-техническое бессознательное.

На письме необходимо исследовать собственную ситуацию письма: если вы в застойном Союзе, когда «ничего не происходит», письмо может сводиться к фиксации радиосводок о землетрясениях и чаепитии, но если вам приходится готовить доклад в самолете или верстать поэтический журнал во время конференции о современной поэзии, то скорее сама эта ситуация прекарной темпоральности и зависимости от электронных средств должна стать объектом поэтического исследования.

День второй, или

Учредить себя вопреки произвольности знака и большим данным

Во второй день конференции всегда уже немного сложнее сосредоточиться, а тут еще и с самого утра речь о нечеловеческих акторах, антропоцене и подобных напастях в современной поэзии. Впрочем, если сделать усилие и поднять глаза на экран, можно увидеть фотографии своих ближайших товарищей, и это снова кажется довольно странным, потому что академия оказывается более мощным аппаратом по производству внимания к поэтическим текстам, чем, возможно, современные поэты способны произвести самостоятельно. (Но узнать об этом можно, только оказавшись внутри академического аппарата, то есть оказавшись перебежчиком.)

Возможно, именно это происходит с героиней следующего доклада — молодой поэтессой, жившей себе спокойно в Омске, пока перед ней не встал вопрос, а где же ее место во всей этой истории русской литературы. И вот тогда она стала перформативно себя учреждать (нередко по головам, как принято в молодости), хотя иногда ей все-таки еще хочется стать как «камни, равные друг другу и самим себе». Впрочем, желание перформативно себя учреждать в некоторых гендерных ересьях идет не только против «материнской» теории перформативности (в которой все же есть некоторые институциональные условия) или конструктивизма (номинализм которого тоже не безграничен), но и, собственно, против самого постулата о произвольности знака, который застраховывает язык от трансформационных притязаний под напором аутентичности любого рода. Поэтому трудновыполнимое в мире знаков желание «быть равным самому себе» и не столь очевидная процедура «учреждения себя» оказываются если и не очень согласованными, то во всяком случае не столь далекими друг от друга стадиями одного и того же.

Наконец, после перерыва приходится все же вспомнить и об обязанностях перед молодыми авторами и сесть за верстку поэтиче-

ских подборок готовящегося выпуска. Сначала приходится верстать поэму о Сталине и Тухачевском, слушая доклад о «Стихах о первой чеченской кампании», а потом взяться за верстку стихов бота, слушая доклад о стихах с сайта *stihi.ru*. Доклад оказывается интереснее, верстку стихов бота (которому никто ничего не должен) приходится отложить. Носитель гибридной литературно-филологической идентичности Роман Лейбов рассказывает о том, как они в Тарту решили *обратиться* к стихам о Крыме с этого самого сайта или, точнее, в силу их количества *обращаться* с ними как с большими данными. Это сразу выдает то, как количественная характеристика переходит в качественную, — за выбором материала, удобного для индексирования и разметки, начинается маячить ценностная ирония: эти стихи можно *не читать, а считать*. А там, где ирония, там недалеко и до политических предпосылок (представителей) сколь угодно точных и количественных методов. Не говоря уж об эстетических предпочтениях, вшитых в любое исследование: ведь всегда остаются и те стихи, которые счету не поддаются, — в них «можно только верить».

Итак, «филологам, не справляющимся с 6–7 стихотворениями, публикуемыми в минуту, на помощь приходят умные машины». В этой чисто количественной характеристике читай их предварительную качественную оценку. Вскоре выясняется, что за эстетической снисходительностью кроется и этическая позиция или даже политическая критика — пусть и подавленная стандартами «научного литературоведения», вытесненная в курилку, но пережившая даже наплыв больших данных. Наконец звучит приговор: «культурный колониализм», бессознательно выражаемый этими «народными» стихами. Однако исследуя подобный колониализм и погружаясь в анналы *stihi.ru* с помощью инструментов *big data*, не проявляет ли исследователь своего рода эпистемологический колониализм? Этот вопрос возникает еще даже до того, как на потенциальную визуализацию будут нанесены не только места написания этих стихов о Крыме, но и место их точного количественного анализа — Тарту. Такое разделение труда

между бывшими союзными республиками выдает постсоветскую подоплеку применения точных методов.

Кроме того, выбор материала/объекта исследования теперь оказывается чем-то вроде предоставления серверов для вычислений: если раньше могло быть жаль аппаратных мощностей для изучения современной вторичной и (де)политизированной литературы, то сегодня аппаратные возможности позволяют исследовать то, что совсем не любишь и что противно политически.

Несомненно, такая «негативная филология» во всяком случае оказывается технически более современной той ситуации, когда филологическая интуиция с безупречным чувством языка мыслит, однако, медиа-техникой литературного высказывания или такой сценой письма, которой больше не имеет места быть. Поэтому оброненные (технические) детали, но не принимаемые в расчет — как стержень, телефонный звонок или почтовое послание, — позволяют датировать не только сами объекты, но и филологическое воображаемое, в координатах которого разворачивается анализ. Количественный анализ больших данных современной поэзии на русском языке современен, во всяком случае, в том, что он больше не пытается грезить ситуацией, в которой есть одинокий голос творца, что умудряется «истину царямъ съ улыбкой говорить» или в которой еще возможны те самые телефонные созвоны и переписка с тираном. Сегодняшняя поэтическая коммуникация с властью разворачивается в принципиально не поддающихся качественным методам условиях (и об этом хорошо бы знать не только филологам, но и поэтам).

В заключение — и уже несколько в пресловутых кулуарах — обсуждается и категория «отъехавших» (от актуальной политики / художественного момента, но и из страны) поэтов и художников, которая включает в себя уже достаточно большое число случаев таких исключений, а потому позволяющих сформулировать правило: сцена, на которой разворачивается речь поэта и действия художника, — это тело родины, сколь бы об-

сценно и аморфно оно ни было, в случае же утраты доступа к этому телу, речь и действия обречены разворачиваться в претерите или перфекте.

Наверняка с (техническими) условиями успешности поэтической перформативности можно сказать только одно. Поэт болтлив потому, что иногда ему приходится переживать очень внимательное отношение к своей речи, и потому во всех других ситуациях его тело инстинктивно стремится занять ту же позицию, из которой его много и хорошо слышно.

Павел Арсеньев